

А.Л. Козлов

Дневники: фрагменты о Москве

Для цитирования: Козлов А.Л. Дневники: фрагменты о Москве // Пути России. 2024. Т. 2. № 1. С. 167–178.

Предисловие

В дневниках Анатолия встречается несколько тем, в контексте которых появляются упоминания и описание Москвы. Город — второстепенный персонаж, спутник рассуждений и переживаний. Жизнь Анатолия проходит на фоне города, город создает контекст, иллюстрирует внутренний мир автора. Поэтому фрагменты о городе будут приведены не в хронологическом порядке, как они представлены в дневниках, а будут объединены по темам, значимым составляющим жизненного мира автора, который формируется и развивается (на момент написания дневников) в Москве. Значимыми составляющими жизненного мира Анатолия являются студенческая жизнь; поиски себя, своей идентичности через наблюдения и разговоры с людьми; размышления о социальной структуре общества и своем месте в нем; бродяжничество как образ жизни и способ обретения себя.

Несмотря на то, что в большинстве фрагментов Москва предстает как фон, в дневниках встречаются два полномасштабных описания города, которые, в то же время, затрагивают все значимые для автора темы, тем самым создавая цельный и единый образ жизненной палитры Анатолия. Также стоит отметить два стихотворения, в которых присутствует образ города и описания ночной Москвы.

15.01.50

Воздух чист. Звенят снежинки, падая,
Будто листья осыпает клен.
Синего, счастливого отрадою
Этот вечер грустный напоен.

Снег скрипит и хлопья тихо кружатся
В мирном вальсе, застилая путь,
То помедлят, то опять завьюжатся.
Я бреду. Куда? — Куда-нибудь...

... Словно мудрая таинственная книга
открывается, бумагой шелестя:
Глубь веков, Ливонцы, Невский, Рига,
Под Москвою соловьи-разбойники свистят...

Я брожу. Я ничего не слышу,
Кроме скрипа собственных шагов.
Мысли звездной шелухой шуршат по крышам,
Пробираясь к жизни будущих веков.

Хорошо вот так шагать ночной Москвою,
Слушать смех прохожих и звонки трамвая,
Разговаривать с самим собою
И людей любить, не уставая.

Многоликая Москва: улицы, переулки, люди, мысли

09.01.49

Опять: спокойно, Козлов. Можно пойти на улицу. Пройти по Кировской. Хорошая улица. Здесь пешеходы особенные: степенные, спокойные, не летят сломя голову, как это процветает везде в Москве. Вот почтаamt. Центральное место любовных и деловых свиданий. Больше — деловых. У окон корреспонденции до востребования толпятся жаждающие получить письмо. Их много. Слишком много. Но писем не пишут. Мне тоже не пишут... С тех пор, как Зеновича выгнали из комсомола и из института, он почти каждый день бежит на почтаamt. В бархатной шляпе и пенсне. Очевидно, ожидает перевод на деньги, надеясь сходить в ресторан или! купить толстых папирос.

Пусть надеется... На углу — стоп! Свернем с Кировской. Вот идет «А» трамвай. Здесь еще какие-то ходят; кажется 48 и другие. Чистые пруды, скамейки. Летом здесь устраивали свидания домработницы и солдаты. Сейчас многолюдно на Чистых. Справа огромные дома с сотнями светящихся окон. Желтые, голубые, синие, зеленые огоньки. Это абажуры. Неотъемлемый атрибут уюта. Живут в этих домах положительные, довольные люди. У них все есть. Диваны, жены, телефоны, ванны, ночные горшки и туфли, пылесосы и даже книжки, у некоторых. Кстати, в этом доме живет Валька Лебедев. Странное совпадение — вот уже 3 дня подряд мы возвращаемся с ним вместе из института. Он такой нежненький, сладенький, безобидный. *Fils de famille*. Типичный.

Дальше, если выйти на ул. Чкалова (переулками), можно прийти на Курский вокзал. Вокзал? Да. С него уезжают на юг; впрочем, можно в Горький и в Свердловск. Еще на вокзале можно ночевать. Очень даже хорошо можно поспать на скамейке или на кафельном полу... В метро сядешь на Курском, и... в любое место Москвы. Кстати. Можно приехать в институт. Если днем, то увидишь сутолоку, беготню. Вот спешит Диночка Каверин в столовую, заказав, он сядет, закроет глаза и станет мечтать о коммунизме (для него это, когда все будут спать под одним одеялом) или о том, как он вдруг становится Распутиным II. Это мечта его жизни. Вот неудачник Вася Цареградский. Он идет, понуря голову, чешет затылок, удрученно мотает головой и шепчет: «Кисть не та, туды ее в качель. Опять не удалось экзаменатора провести. Да, — Белкина — это голова, это не какой-нибудь Поповкин».

А вот улыбающийся Саша Токарев. Раньше он был похож на Пьера Безухова. Милый такой, неповоротливый, неразговорчивый, застенчивый и добродушный. Бывало, придешь рано утром в институт, никого еще нет, а он уже сидит в зале за сценой и играет на фортепьяно Шопена или Бетховена, а то и Рахманинова (прелюд или второй концерт для фортепьяно с оркестром). Хорошо он играет. Теперь Токарев стал общительней, смешливей. Развязный как-то даже. Вот и сегодня: сдал экзамен по диамату на пять. А до этого прочел только 200 страниц Леонова и все. (Всего ночь поиграл в преферанс) Новейшую историю сдал тоже на пять. И остальные сдаст на пять. Будет отличником. А Вася Цареградский будет долбить день и ночь, получать тройки, в лучшем случае — четверки и сетовать на судьбу. Токарев смеется: «Эх Вы... Уметь надо. Надо говорить не то, что спрашивают, а все что знаешь.» Во весь рот смеется...

Если прийти в институт вечером — часов в 10, 11 — можно походить по этажам, по залам. Хорошо вечерами в институте. Тихо и немного грустно. Чувствуется во всем энергия в потенции. Из окон виден Крымский мост, Парк Культуры, каток, елка. Там огни, движение... А внутри тоже движение. И вообще, и сейчас. Движение, которое пытаешься заглушить разговорами, какими-нибудь ненужными

и бестолковыми делами, суетой, вот этими строчками и многим, многим другим. Отчего, собственно, мечешься? Оттого, что не живешь в полную силу, а только какой-то сотой, тысячный частицей себя. Остальное идет прахом.

Пассивно жить не хочешь, а по-настоящему активно — не умеешь. Отсюда все и идет. А надо уметь. Уметь жить по-настоящему активно. Так, чтобы не чувствовалось своего бесплодия.

05.01.50

Есть что-то глубоко гнетущее в каменных колодцах дворов и серых лабиринтах запутанных московских переулков. Что-то ужасающее и безысходное. Похожее на свинцовую рябь петербургских каналов и на мелкие грязно-серые волны блоковской Невы. Еще хуже, когда гнетет внутри. Щемит, сосет. Тоска. Тоска неумолимая и бесконечная. Тогда даже переулки кажутся райскими садами, а улицы с шумными, полными народу перекрестками в такое время кажутся счастьем. Гулкие. Шаги по ненавистным, обезлюденным переулкам. Отдаются шаги внутри будоражащим и скрипящим эхом. И — все равно — надо идти, идти. Идти, пока не устанешь. Бродить, пока не притупится в груди пронзительная оранжевая боль.

А кому это нужно? Никому. Ни людям, ни мне, тем более. Холодно. До боли в висках холодно. Застывают мозги и леденеют мысли. Нельзя выйти на улицу, а выйти совершенно необходимо.

К людям тоскою ведомый.

К людям тоскою гонимый.

Хотя бы потолкаться в метро. Или — на почтамт. Люди там спуют, и своими простыми, будничными делами заполняют ткань, имя которой жизнь. Может быть, станет легче. Отчего? Но не выйти на улицу.

А если бы снегу теперь. Полное небо снегу. Чтобы летел он хлопьями. Пушистыми и нежными. И под ногами не хрустит — мягко... Ни несчастье и ни безысходность. Просто: я — человек и ничто человеческое мне не чуждо. Тем более: теперь спокоен более, чем когда-либо. Просто: нужен просто и нужен народ. Настоящий народ. Который трудится. Без красивых слов и жестов. Слова и музыку изобретают уже здесь, в особняках и теплых квартирах московских переулков. Изобретают, получив предварительно сходный аванс и творческую командировку.

Пусть их прикрасят, не беда

Воображенье любит мощи.

Была святей, грязней и проще...

Нет снега. Нет переулков, гулких шагов и обрывков разговоров. Нет людей и друга нет. Одно окно. Окно перед тобой, а за окном колодец двора с обидно маленьким куском неприветливого неба. Сиди и смотри. И не скули.

А лучше всего: возьми оба тома истории дипломатии. Читай. День и ночь. За это тебе поставят сносную отметку 14/I на экзамене по истории внешней политики. Читай и не пытайся возражать себе.

27.09.48

Был конец все того же сентября. Только теперь — день. По-осеннему яркий и суровый, сдержанное и ровное солнце, как много поживший и повидавший хороший человек, ласкало улыбающиеся лица людей. Впрочем, не все люди улыбались, люди жили, т. е. спешили, сутились, отдыхали, прохаживались, наблюдали, были пьяными или чертовски веселыми.

В общем, улицы были полны народа и солнца. Бабье Лето. Когда знаешь, что больше такого солнца, не будет. И от этого еще больше его ценишь...

25.10.48

Москва ночная. Темная и мягкая, с бусинами огней. Бархатная. И суровая. Воздух свежий и резкий. Асфальт блестит, асфальт мокрый от только что прошедшего дождя. Холодный, насмешливый асфальт. Люди идут. Спешат или не спешат. Одни прогуливаются, другие бегут — с работы или на работу. И это — жизнь. Широкая и необозримая. Интересная. Захватывающая... Пишу я явно не про то. Не про то, что надо. И не то, что надо. Не то, что думаю и чувствую.

Москва студенческая

01.09.48

Сегодня первый день занятий в институте. Пришел, и сердце забило, быстро-быстро, радостно.обежал аудитории, коридоры, залы. Зашел в библиотеку, в читальную, на кафедры. Поздоровался с ребятами. Лица радостные, загорелые. Все смеются, быстро и неразборчиво говорят, сбивчиво рассказывают о быстро прошедшем лете. И все,

даже которые раньше не очень нравились, сегодня какие-то особенные, близкие и приятные.

Все радует, даже еще не высохшая краска на стенах и новые ковры на лестницах. Радует сердце. Переполнено оно какой-то особенной теплотой и любовью к людям. Хочется всех обнять. Хочется крепко пожать руки всем этим крепким, веселым парням. Этим, которые учатся, живут и смотрят, грустят и любят, читают и спят, мечтают и умеют быть суровыми, серьезными. Этим, которым очень, очень трудно, но которые борются и побеждают.

Трудно будет в этом году. Придётся, очевидно, работать и учиться. Только бы найти работу, хотя бы чёрную какую-нибудь и не обязательно дорогую. Ничего. Выдержу.

И тепло на сердце становится от того, что чувствую, как с каждым днём становлюсь суровее, сильнее. Много хочется сделать.

21.11.48

10 часов вечера. Ходил в институт сдавать в читальню книги. Потом прошел по этажам: зашел в аудиторию, в деканат (там Некрасов и Левин делают французский). Тихо везде. Хорошо. Уже до того привык к институту, к этим милым и близким коридорам и залам, аудиториям и кабинетам, что не представляю себя без него, без этих стен, где провожу все дни, без этих людей, с которыми учусь, живу... Из окон комитета комсомола виден Крымский мост — удивительно красивая громадина, — Набережная, Москва-река, вечерний город, огни, огни, огни...

Бродяга на улицах Москвы

14.09.48

На улицы иду, в переулки, на площади. Разговариваю с людьми, слушаю их души, горести, радости, слежу за мечтами и воспоминаниями. Разговариваю с людьми, крепко стиснув челюсти. И что значат настоящие, обыкновенные слова по сравнению с этими ночными разговорами истосковавшейся души. Молча разговаривают. А слова все — только тени мыслей. Мысли скудны, а слова тем более... И бродишь так вот по ночному городу, руки в карманах, взгляд вперёд, во встречных и — дальше — в черную ночь с крапинками огней. Бродишь. И думается что-то, и чувствуется... Не знаешь, что точно, но что-то очень хорошее, очень тёплое к людям.

А жизнь требует деяния.

Жизни мало толку от всех этих, может быть, и хороших, но, в сущности, ненужных «душевных переливов». Вот и бродишь, понуря голову. Бродишь, и шумит внутри, мешаясь, удивительная музыка. Поднимешь голову — в сердце тишет, бьётся о стенки Пятая симфония Чайковского — гордо звучит, сильно и уверенно. А потом вдруг откуда-то выплывают тихие, грустные волны «Элегии» Массне. Перемешиваются, звучат вместе и оба отчетливо слышны. Две музыки. А человек один.

Бродишь. По темным, совсем захолустным и незнакомым улицам. Устаешь. А с усталостью понемногу притупляется и боль. Утихает внутри. И утихает лишь для того, чтобы, когда-нибудь снова — с еще большей силой — вспыхнул голубой огонёк. С утренним солнцем пропадает Бродяга. Забывается в свою темную нору. Чтобы ночью вновь вылезти на улицу и вновь мерять землю своими мерными, упрямыми шагами. День пройдёт. Потом ночь... А утром — солнце. И всё равно почему-то кажется, что счастье — обязательно голубое.

08.01.49

Опять стучат колеса. Поезд. На этот раз не дальнего следования. Серпухов — Москва. Помню: на крыше скоро Владивосток — Москва. Тесно, все крыши заняты спекулянтами, ворами или такими же бродягами, как я. Ночами холодно. Холодно так, что выть хочется. Но средство согреться только одно: сжимать и сжимать зубы. Или, когда едешь между вагонами, три ночи не спал, глаза слипаются, и нет уже никакой физической возможности удержаться от того, чтобы не заснуть. Откроешь глаза — голова почти рядом с колесами, тело висит. Хорошо, что есть ремень — можно привязаться к межавгонным перилам и висеть, висеть сколько угодно спать, спать.

А когда уж совсем немоготу, можно сойти на какой-нибудь станции в Барабинской или Омской степи, поспать.

Помню, сошел на Называевской, заснул. Спал 18 часов. Потом проснулся, смотрю около меня парень сидит.

Не парень, а мужчина. Лет 30–35. Разговорились, он достал хлеба, сала, поели. Обрусевший калмык, вор. Впрочем, был вором, а теперь нет; работает, едет куда-то в отпуск...

Потом опять поехал. Или: многочисленные путешествия из Свердловска в Москву или обратно. На крыше, конечно. Особенно одно запомнил, ехали через Киров, Горький. Денег не было. Первые два дня держались. Читали с Василием стихи, природой любовались. Потом не выдержал, где-то под Горьким затеял игру в три листика, выиграл рублей 200. Поели.

В Горьком напились. Инцидент. И т. д. Я — бродяга. Настоящий бродяга. Вот теперь засиделся долго в Москве и давно уже подмывает

сорваться, уехать куда-нибудь, поездить, посмотреть новых людей, новые места. Сдам экзамены — уеду или в Свердловск, или в Петербург. Перетряхну всю муку, что скопилась в голове за эти три года. Освежусь. Услышу новые слова, почувствую новые ветры и новые снега. Другие снега.

15.08.1948

Уже дня три, как вернулся со Смоленщины. Походил по Москве — рябит в глазах. От показной и ненужной роскоши, от заплывших рож и от двойных подбородков, от приторного смеха довольных мещан и от насквозь продажных лиц торговцев золотом и телом. Рябит в глазах. А в груди кипит злоба: мужик вот с этими, жирными, тупыми животными, с этими жаждущими наслаждений жизнью и комнатной тишины, мужик вот с этими, тварями будет строить коммунизм?!?

Я знаю, жизнь делают не эти. Жизнь делает тот, кто трудится. Эти — не просто пользуются жизнью, как любовницей, и деньги для «этих» — дают им возможность эпикурействовать, деньги смягчают все толчки, которые неизбежны на жизненных ухабах, и они служат за деньги. А я хочу, чтобы люди не служили, а работали! Впрочем, это — смешно. Донкихотство. «Эти» всегда были.

22.01.50

Я поэт.
Я стер границы
Между мной и всеми людьми,
Дикими глазами и суровыми лицами
Приветствующими на перекрестках ночные огни.

Я поэт.
Я стер границы.
Я жаден, ста волков лютей.
Я поэт.
Я заполнил лица
Всех живущих на земле людей.

Я поэт.
Я разбил оковы
Запылённых духовных шор.
Я ногами вожу по Москве человека такого
Удивительного и улыбчатого, как Семен Шор.

Я поэт.
Я разрушил зданья
И тупого зла, и пошлости серой.
Никому платить не обязан дань я
Ни златом, ни гордостью, ни мыслью, ни верой.
И пускай я — косноязычной обгорелого пня.

Пусть
Рифмы — дики и неудачны очень.
Слава слову, рождённому в муках дня
И в лихорадочных бденьях ноги.

Комментарии

Дневниковые записи послевоенных лет являются ценными источниками знаний, которые приоткрывают завесу тайны жизни мегаполиса страны-победительницы. Если в руки попадёт подобный поистине раритетный материал, нельзя не поделиться впечатлениями о прочитанном.

Лейтмотивом дневниковых записей является контрастирующее с внешним лоском и внутренней развращённостью образом города душевное состояние студента московского института МГИМО. Автор описывает две ситуации: с одной стороны, это любовь к вузу и ночному городу, а с другой — отвращение к мещанской Москве.

Первое, на что обращаешь внимание после прочтения, так это на то, что молодой человек детально описывает всё, что наблюдает вокруг, старается отметить изменения погоды, настроения людей и их менталитета, отрефлексировать собственные чувства. Последние не резонируют с общей окружающей обстановкой: жизнь города идёт будто бы параллельно с жизнью автора: «Пишу я явно не про то. Не про то, что надо. И не то, что надо. Не то, что думаю и чувствую». Однако, когда наступают сумерки, и вечер набирает силу, когда весь мир во власти темноты, на людских душах будто бы приподнимается занавес, а человеческие сердца будто бы приоткрывают свои створки. Именно в это мгновение разговоры становятся более откровенными, даже интимными. Восхитительно свойство темноты — обложение личного нутра! Именно тогда автор предаётся размышлениям, прислушивается к себе, своим ощущениям. Ведёт диалог с собой. Усталость от города и снобистского образа жизни растворяются под покровом ночи: «Из окон комитета комсомола виден Крымский мост — удивительно красивая громадина, — Набережная, Москва-река, вечерний город, огни, огни, огни...». Когда утро сменит ночь, всё вернётся на круги своя и будет повторяться из раза в раз: «С утренним солнцем пропадает Бродяга. Забывается в свою темную нору. Чтобы ночью вновь вылезти на улицу и вновь мерять землю своими мерными, упрямыми шагами».

Далее молодой человек приходит к выводу, что такая жизнь выматывает и претит ему: «Отчего, собственно, мечтаешь? Оттого, что не живешь в полную силу, а только какой-то сотой, тысячный частичей себя. Остальное идет прахом. Пассивно жить не хочешь, а по-настоящему активно — не умеешь. Отсюда все и идет. А надо уметь. Уметь жить по-настоящему активно. Так, чтобы не чувствовалось своего бесплодия.» Он приходит к выводу, что «эту болезнь» может вылечить труд: «Тем более: теперь спокоен более, чем когда-либо. Просто: нужен просто и нужен народ. Настоящий народ. Который трудится. Без красивых слов и жестов.»

Таким образом, дневники служат не только своеобразной исторической справкой, где эпоха конца 40-х–начала 50-х годов описана через призму субъективных впечатлений представителя молодёжной группы, недавно ставшего жителем Москвы, но и источником социологических наблюдений. Благодаря эпитетам и сравнениям, которые используются при описании советского столичного общества («От показной... роскоши, от заплывших рож и от двойных подбородков, от приторного смеха довольных мещан и от насквозь продажных лиц торговцев золотом и телом. <...> мужик вот с этими, жирными, тупыми животными, с этими жаждущими наслаждений жизнью и комнатной тишины, мужик вот с этими, тварями будет строить коммунизм?!?»), можно говорить о ярко выраженной социальной дифференциации между мещанским и рабочим классами. Разные жизненные парадигмы и траектории — созидательная и «эпикурейская» — невидимой стеной разделяют общество. Несмотря на то, что в записях описана только текущая ситуация, а не размышления о её рисках (к слову, автор сам себя ругает за подобную позицию «бездействия»: «Пишу я явно не про то. Не про то, что надо. <...>»), мы все прекрасно знаем, к чему данные обстоятельства приводят: к неравенству в обществе, к дисфункции его структур, к обострению социальной напряжённости, фрустрации его индивидов и иным последствиям.

Полина Тынкова, социолог, аспирант